

Я обещаю убирать от себя хрупкие предметы как можно дальше. Я буду, всегда, ведь с меня станется разбить что угодно. Вазу. Окно. Мраморную статую. Сердце. Это мой уродливый талант с детства, хотя я долго жил, не зная о нем. Что ж, я наказан справедливо, я буду убирать их, буду — эти хрупкие предметы. И хрупких людей. Только выслушайте в последний раз, как когда-то. И пусть вас уже нет, а развалины, в которые превратился мир, — не место для исповедей.

Помните? Ваши волосы падали на плечи, вы носили золотистую сутану с оком, вышитым на спине черной гладью, а оба ваших глаза еще видели. Вы были почти ребенком, младше меня, но я боялся вас, как бури, и, как за гремучим грозовым воздухом, шел за облегчением в ваш величественный храм. Выслушайте. Услышьте, где бы вы ни были. Может, и вы скучаете по прошлому. Может, улыбаетесь, вспоминая маленькие горести и ошибки, о которых слушали дни напролет.

«Я украла ожерелье из ракушек у милой Лёйи, но верну, верну».

«Я засмотрелся на красавицу в окне рыбацкой таверны и чуть не задал телегой кошку, а она, наверное, спешила кормить котят».

«Если бы только не воспитывать этих сорванцов, а купить корабль, нанять команду да и отправиться в странствия... простите, я плохой отец, но я стараюсь как могу».

Может, сейчас вам, как и мне, кажется: еще недавно мы жили очень хорошо и шли к тому, чтобы жить даже лучше. И вы задаетесь вопросом, что и почему мы сделали не так. Был ли это наш выбор? Почему если бы кто-то исповедовался вам снова, то сказал бы:

«Лёйя считает, что правда в войне — на стороне врага. Я донесла на нее».

«Я ударил дочь за то, что она отдала наше последнее молоко кошке в подвале».

«Я в море много дней, и команда моя — воры и убийцы, а берега все нет. Скоро я повешу последних из них, ведь нет больше сил видеть их померкшие глаза».

Темные времена — уже не для мелочных стенаний о людях, которых мы оттолкнули, надеждах, которые потеряли, и домах, откуда ушли. Темные времена — замок для маленькой боли, распахнутые ворота для большой. Темные времена укоризненно шепчут нам: «О чем ты печешься, пока все вокруг гибнет?» И я должен, наверное, говорить с вами об ином. О бойне, которой в той или иной мере стал причиной, пусть не один. О чудовищах, которые отныне не дают спокойно ходить кораблям. О прекрасных лекарствах, механизмах и книгах, которых мы лишились из-за того, что их создатели отныне считают нас бешеным сбродом и строят дивный чистый мир в высоких высях, куда нам, израненным, больным и грязным, дорога закрыта. Но нет. Все это горе не только мое, и, может, поэтому оно грызет меня позорно мало. Но разве мы, люди, не такие существа? Личное, пропущенное сквозь сердце и просыпавшееся сквозь пальцы нам всегда ближе, с ним сложнее свыкнуться, чем с бедой, единой для всех. С горем мира я как-нибудь срастусь... Хотя раз за разом понимаю, насколько легче мне было бы, будь Мастер рядом. И насколько легче было бы нашему дому, откуда я его прогнал, ведь он как никто умел создавать. Учился все лучше, пока прочие учились разрушению.

И научились слишком хорошо.

А я ненавидел Мастера, ненавидел, помните? Так же беззаветно, как любил. Тосковал, превозносил, клял. Сейчас иногда и не понимаю: как во мне — еще ребенке — умещалось столько чувств к одному взрослому? Блеклomu, сухощавому, будто обожженному светом разом всех звезд,

хрупкому? Хрупкому... и непредсказуемому, как ветер или улыбка неба в ненастный день.

Мой свет, мой мрак. Проклятье... увидев смутную искру во мне, он не дал ей погаснуть. Но не сказал, никогда не говорил, что искра — еще не пламя, и долго я не мог услышать других его важных слов. Ненавижу, ненавижу... Но нет, давно не его, нет, теперь лишь себя. Я взял всё, что он щедро отдавал, а потом предал его и мучаюсь до сих пор, пусть он и сказал, что простил бы мне всё, всё что угодно. Может, это тоже прихоть темных времен. В темные времена мы вспоминаем все грехи и начинаем в них искать причины бед, через которые проходим. А я словно сам — беда.

У меня одна радость, и, я знаю, она также ваша: кончилась война, слышите, кончилась! Сегодня, в последний день Великого Разлада, темный уводит людей за море. Он все еще в скорби, в скорби по вам, и скорбь эта сильнее той, что по дому. Я никогда этого не понимал — вашего союза, странного союза двух врагов, так похожего на сплетение двух сорных трав на пустыре. Впрочем, не судите: где вы, где я. Вам, наверное, точно так же непонятна моя любящая ненависть, моя ненавидящая любовь. В главном наши сердца — я всегда чувствовал — ни капли не похожи. Пока мое было калейдоскопом острых многоцветных фрагментов, вечно собиравшихся в произвольном порядке, ваше сияло, как неприкосновенная розовая жемчужина в нежном перламутровом плену раковины.

Войны нет. Нет вас. Нет Мастера. А я зову прошлое снова, тщетно зову. Имена горчат на языке и пахнут краской, и крапивой, и морем, и пылью в витражном свете из арочных окон. Они — эти имена — ласково и непреклонно возвращают меня к Общему Берегу, где все было светло и свято, где я все, все начал понимать. Тогда мир только-только покачнулся, большое сердце его пронзил первый нож. А я и не ощутил, потому что меня держали за руку и вели вперед, обещая: «Ты станешь великим, мой мальчик. Только улыбнись, миру нужнее всего они — улыбки. А прочее он всегда найдет и починит сам».

Не нашел. Не починил.

Сгущается туман. Корабли уходят, похожие на вереницу раненых дельфинов. Их красные кормовые фонари — вихрь светляков, напившихся крови и увязавшихся следом, чтобы пить еще и еще. Скоро уйдет прошлое, скоро я останусь один, а там, за морем, родится уже третий, но наверняка дивный мир, создатель которого будет шептать ваше имя в зауспокойной молитве. А пока... мой король, мой бедный король, услышьте меня,

как в детстве. Вы слышали много исповедей и наверняка забыли мои. Все бесконечные мальчишеские:

«Я украл сегодня краски с рынка, потому что я лучше тех, кому их купят».

«Я опять обозвал плохим словом — нет, десятком слов — городскую стражу за то, что не дали мне сорвать персик у графского замка».

«Я встретил Мастера. И... я хочу его убить».

А вот я помню вас вопреки тому, как вы были недостижимы. Все, что вы пережили. Вы мучились сильнее меня — и не потеряли свет, хотя понимали и тьму. Вы ни с кем не делились этими муками, кроме, может быть, того, кто черной ночью скитался еще недавно по вашим комнатам. Вы были почти как Мастер. Любили своих врагов, даже ничтожеств вроде того, кто, по слухам, убил вас. Не разрушали, не стонали о том, чего лишены, — создавали или пытались спасти.

И лишь во славу этого я остаюсь, чтобы отстроить ваши руины заново. Они еще расцветут.



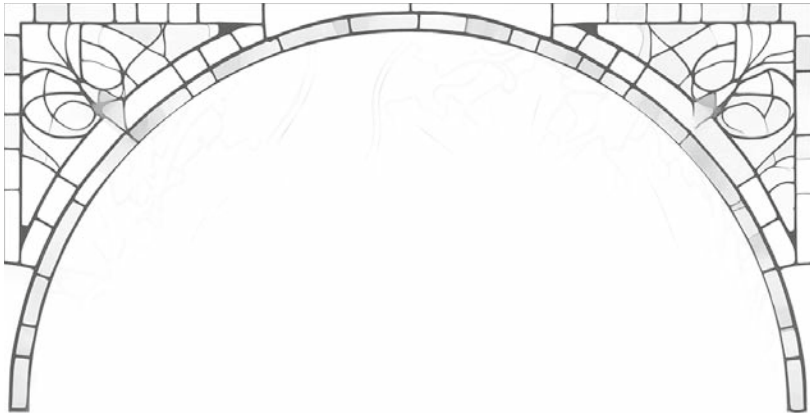
Ч А С Т Ь I

# ФУНДАМЕНТ

ИСТОК  
ВЕЛИКОГО РАЗЛАДА

Все реки текут в море,  
но оно не переполняется: к месту,  
откуда реки текут, они возвращаются,  
чтобы опять течь.

**Екклесиаст**



**И**рдинн всегда знал, что это страшно — медленно погибать в глухом болоте. Когда-то он читал сказку об этом: как храбрая Принцесса отправилась вызволять из хрустального саркофага околдованную Мать, но на середине странствия, в Черном лесу, ее настигли враги — люди злого Советника — и, бросившись с ветвей деревьев, толкнули в трясины. Принцессу выручил верный Конь, которого враги не додумались убить. Он осторожно подошел к краю болота, наклонил голову и, когда Принцесса уцепилась за уздцы, вытащил ее на твердую землю. И, кажется, даже оказался в конце проклятым Принцем, за которого Принцесса счастливо вышла замуж.

Ирдинн тоже рассчитывал на своего коня — пока еще верил, что перепутал дорогу на карте и попал в топи случайно. Но как только он, испугавшись змеи и оступившись, начал вязнуть, коня, совсем как в сказке чудом оставшегося на твердых зеленых кочках, забрали, увели, мимоходом пожелав хозяину славного дня. Ирдинн только надеялся, что беднягу не убьют. На что еще ему было надеяться?

Вечернее небо наливалось знакомой лиловой темнотой. Болото пахло всем тем, что Ирдинн в детстве любил: ряской и сладкими ягодами, мхом



и лягушками. Оно было теплым, как парное молоко в купальнях дома; оно, казалось, совсем не настаивало на том, чтобы Ирдинн умирал, не тянуло его слишком сильно и быстро ко дну. Но оно злилось. Злилось всякий раз, как Ирдинн, подстегнутый очередной вспышкой воли к жизни, дергался, начинал шарить вокруг, хватался за какие-то коряги и хвощи, тянулся к сутулым кипарисам, опутанным хлипкими, рвущимися в руках лозами. Тут же оно напоминало: «Не уйдешь!» — и смыкалось плотнее, а ноги глубже уходили в илстую рыхлую тяжесть. Ряска, похожая на россыпь мелких зеленых монет, уже плескалась над ключицами. Голову все чаще приходилось задирать.

Ирдинн смежил веки, переводя дух. Лес заполнял тишину птичьими голосами, треском и скрипом ветвей, смутным дробным перестуком. А вот шаги и голоса утихли, утихло испуганное ржание коня. Не пожалеют. Все решено. А он, дурак, и вообразить не мог такой подлости, хотя стоило бы лучше слушать старшего брата — единственного из них троих, кто подверг себя позору, но не покинул сераль ради пустых поисков.

Пустых... Не открывая глаз, Ирдинн сипло, горько засмеялся, а болото в ответ тихонько заколыхалось. Конечно, пустых, отец был обречен. Его в первый же день странной внезапной болезни так рвало черной желчью, конечности его так высохли, а кожа так натянулась, что Ирдинн понимал: это никакой не спонтанный мор неясной природы, никакое не проклятье свыше, никакое не испытание, посланное богами всем любящим его. Это яд. Обычный яд, подлитый верной рукой в питье или прыснутый на подушку. Но дядя был так перепуган, так красноречив, так огорчен, что они — сыновья, двое из троих, младший и средний, — поверили. Поверили и вспыхнули надеждой, услышав: «Если будете скакать достаточно быстро, вы, скорее всего, сумеете его спасти, я видел такой недуг». Они взяли коней. Они отказались от спутников, чтобы ничто не замедляло в пути. Они уговорились: средний отыщет священного оленя богини природы Вирры-Варры, подберет его сброшенные рога и истолчет в целебный порошок. Ну а младший найдет и сорвет голубой малины, она должна расти прямо здесь, в чаще на дальней границе, в краю, где, по легендам, любит бывать сама светлая богоматерь Парьяла. Старшего тоже упрашивали присоединиться к поиску — отправиться за пределы графства Кипящей Долины, в земли верховного короля, где бьет живоительный водопад бога справедливости Дараккара... Но старший не поехал. Мрачно усмехаясь, он сказал: «Светлые боги не помогут тем, кто все

больше почитает темных». В глазах же его читалось другое: «Все бесполезно». Тогда Ирдинн, рассерженный и расстроенный, в ответ наговорил немало злых слов. Сейчас он очень сожалел об этом.

Если бы попросить прощения, если бы снова обнять брата и забыть все, как кошмар...

Он открыл глаза и увидел особенно низкую, кажущуюся надежной и плотной ветку болотного кипариса. Она, похоже, склонилась так близко лишь сейчас. Она напоминала протянутую руку, хотя, конечно, ничем таким не была — просто вода постоянно вымывала кипарисам землю под корнями, из-за этого они словно ерзали в своих топях: меняли положение, гнулись, наклоняли и поднимали искривленные ветви. Ирдинн сжал зубы, прислушался к ноющим ногам — и все же решился, прыгнул, с силой вытолкнув себя из ила, попытался сомкнуть пальцы на шершавых гибких побегах... Ветка сломалась с гнилым хрустом, осталась в руках. Разозленное болото заколыхалось сильнее, плеснуло в рот и нос зацветшей водой, потянуло глубже. Ирдинн увяз по середину подбородка, судорожно закашлялся. С трудом удержал хотя бы равновесие, вытер мокрое лицо, дрожащими пальцами отвел за уши волосы, в которых, как у себя дома, ползали уже какие-то насекомые... снова закрыл глаза и тихо, отчаянно застонал.

В мысли вернулся старший брат — но злости больше не было, ни тени. Лишь горечь: почему не слушал, почему, ведь тот пытался отговорить? Вразумлял обоих братьев, но Ирдинна — особенно, до крика и угрозы запереть в тюрьме. Они очень любили друг друга, любили с детства, когда Ирдинн, до смерти боявшийся змей, крокодилов, гигантских комаров и прочих привычных обитателей джунглей, даже из дворца почти не выходил после сумерек. Крокодилами Ирдинна обожал пугать средний брат: в подробностях рассказывал, как они тихо лежат на дне рек и болот, поджидая, пока кто-то приблизится, как выпрыгивают с разинутой пастью, откусывают голову, а потом тащат за собой остальное тело. Как с удовольствием выедают сначала мягкие сочные внутренности возле живота, потом обглаживают ребра, потом отгрызают пальцы рук и ног. Ирдинн сжимался в комок, под бодрый смех убегал, находил в библиотеке или за какими-нибудь делами старшего брата и, схватив за руку, начинал выспрашивать, все ли правда. Тот обычно смеялся. Они садились в беседке в саду, Ирдинн утыкался брату в грудь, крепко обняв его за пояс, и слушал новые рассказы о крокодилах только так. В этих версиях они казались безобиднее.

Ну, по крайней мере, предпочитали есть животных, а не людей; если на последних и нападали, то головы не откусывали; случалось даже, что из поединков люди выходили победителями. «Если хочешь, — сказал однажды старший брат, — когда ты подрастешь еще немного, мы тоже отправимся на одно из болот и убьем крокодила. Ты увидишь, это не так сложно, и перестанешь бояться. А еще у них, говорят, вкусное мясо, наши подданные, которые живут ближе к болотам, каждую сэлту\* едят его на ужин».

Ничего так и не сбылось: Ирдинн вырос, но стало не до крокодилов. Нет ли их здесь?!

Ирдинн подумал об этом, но испугался скорее того, что не почувствовал страха. Пусть так... пусть тогда скорее сожрут, ведь медленно вязнуть, будучи не в силах выбраться, — куда мучительнее. Вода подобралась к губам. Голову пришлось задрать, но в таком положении удалось глотнуть лишь совсем немного теплого затхлого воздуха. Ирдинн снова зажмурился. Как там отец? Когда уезжали, дышал так же тяжело, хрипло, а дядя сидел над ним и сам промокал с лица пот, подавал воду со льдом. Старший брат был там же — стоял у окна, скрестив руки на груди, и наблюдал. Наблюдал мрачно, одним взглядом говоря опять: «Все бессмысленно». Почему все-таки он сразу это понял? Почему не поехал за водой? Хотя он такой умный... такой... такой пронизательный, хитрый. Не решил ли он, что так проще будет занять трон?

Это ведь нерешенный вопрос: пока в некоторых графских семьях корону неоспоримо наследует старший ребенок, в других выбирают самого достойного, независимо от прожитых кругов\*\*. В Кипящей Долине именно так: все трое сыновей могут претендовать на престол. Могли... ведь Ирдинна больше не будет. И среднего брата его, похоже, нет, ведь у одного из людей, которые уводили коня, висел на поясе знакомый меч с украшенной изумрудами рукоятью в виде крокодильей головы. Чьи

---

\* Сэлта — неделя в мире Двух Морей. Длится 6 дней.

\*\* Приливной круг / *общепотр.* прилив — аналог земного года, время от одного Большого прилива до другого. В Большой прилив море поднимается так высоко, что подтапливает прибрежные города и уносит с улиц весь мусор. Середину круга знаменует Большой отлив, когда море уходит от берегов очень далеко. В эту сэлту люди проводят на оголившейся гальке празднества, например, сжигают водоросли в кострах и прыгают через них. В некоторых странах приливной круг также делится на два полукруга.

то были люди? Все одинаковые: чернокожие, златоглазые, крепкие нуц. Молчаливые, отчужденные, хорошо одетые, без капли сочувствия во взглядах. Чьи, чьи? Неужели...

— Ты нас предал? — шепнул Ирдинн в пустоту, и ярость в очередной раз заставила дернуться, теперь в сторону густых зарослей осоки. Если добраться до них, если вцепиться, если вдруг за ними, например, спрячется какое-нибудь гнилое бревно...

Ноги подогнулись, болото разлилось сильнее, зачавкало, заколыхалось. Теперь, чтобы дышать и не глотать воду, голову вообще нельзя было опускать.

Нет, нет... старший не мог. Не мог, потому что они еще не убили крокодила, не мог, потому что слишком любил отца. Дядю, правда, не любил, но то был единственный человек, с которым ему не удавалось подружиться. Исключение, связанное, скорее всего, с дядиной развращенностью: тот менял фаворитов и фавориток, как салфетки за едой, лишь недавно наконец женился, но гулять продолжил... Старший брат в этом смысле отличался щепетильностью. У него самого, несмотря на красоту, стать, властность и доброе сердце, было за всю жизнь, наверное, две-три пары. Он сам так это называл — «пары». Ирдинну, когда он слушал о парах, не раз казалось, будто брат пытается что-то до него донести, что-то важное. Мысль вроде...

«Пару нужно находить раз и на всю жизнь».

А он, Ирдинн, так и не нашел. Или?..

Он вспомнил вдруг Адинну, дочь одного из отцовских медиков. Они никогда особенно не общались, Ирдинн разве что любовался ею издали, когда она возилась в саду, ухаживая за лекарственным палисадником. Там росло все такое пахучее, странное, но куда более нужное, чем красивые цветы: мята и лаванда, расторопша и ревень, молодые ивы с целебной корой и шиповник. Эти растения привезли из более прохладных краев, от духоты Кипящей Долины они страдали, но Адинна ворковала с ними, взбрызгивала листья водой в часы, когда прямой свет с неба не мог их обжечь, обрезала засохшие побеги. Заботливая, добрая Адинна... Она собрала Ирдинну в дорогу мешочек сушеных трав и посоветовала обрабатывать их отваром раны. «С чего ты решила, что меня в пути ранят?» — шутливо, мягко спросил тогда он, и Адинна вдруг покраснела. Не ответила, только сунула мешочек ему прямо в руки, выпалила: «Возвращайся живым», — и убежала.

Адинна... папа... дядя... любимый старший брат. Сад, дворец, купальни с парным молоком. Теплая кровать и легкие занавески на арочном окне. Фрукты в перламутровых вазах. Книги. Ирдинн все не мог открыть глаз, потому что чувствовал: по щекам сразу побегут слезы. Побегут, упадут, смешаются с болотной водой. Нет, он оставит их себе. Илистое дно тянуло все ниже. Цепляться было не за что, да и сил не осталось.

Уже чувствуя, что через несколько мгновений все кончится, дергаясь в последний раз в поисках хоть какой-то призрачной опоры, задирая подбородок, Ирдинн выдохнул свое имя — единственное, что еще связывало с живым миром. Вскинул руку повыше, растопырил пальцы — но уже не увидел, как на ладони проступила, засверкав, алая метка рода: цветок чертополоха с острыми листьями-пиками.

Болотная вода сомкнулась над головой. Пришел последний сон.



В разуме Бьёрдэ искрился вечный лед, как и в разумах его просветленных братьев. Он знал: ничто не уходит в никуда, ошибки дороже побед, а правда бесценна. Это знали все *пиролáнги* — самый малочисленный из трех народов, что заселили Общий Берег много, много приливов назад.

Пироланги всегда жались к небу — насколько возможно, когда земля гнет тебя вниз. В алмазных рисунках созвездий и перламутровой пляске сияний они находили защиту и знание, по небу читали путь. Небу было неважно их уродство: пироланги, все до одного, рождались крупными, красноглазыми и покрытыми густой снежной шерстью, так непохожей на нежную голую кожу их хрупких братьев — белых *кхари* и черных *нуц*.

Домом — в то время как собратья искали тепла и красоты в приморских долинах — пироланги выбрали Холмы, дикие, лесистые и угрюмо поющие голосами ветров. Оттуда они глядели в небо, а небо — на них. Небо помогло им построить самые крепкие дома и создать надежное оружие, подсказало, из чего делаются спасительные лекарства и где спрячутся бесценные металлы. Небо рассказало и многое другое, без чего и пироланги, и собратья пропали бы, когда только-только обустроивали убежища и пастбища, потом — селения и города, потом — могучую Цивилизацию Общего Берега. В небе ведь жили боги, множество их. Боги любили болтать, а в прежние времена и являться. Истории их передавали из поколения в поколение. До поры все было хорошо. Но пора, похоже, завершилась.

Бьердэ понимал это. Именно поэтому ему, пусть скованному льдом всезнания и всепринятия, было теперь тревожно. И пока готовилось снабдьё для больного маленького графа Энзу́ллиса, Бьердэ читал.

В новом списке Книга Моря порастеряла певучесть, зато обрела ясность — не это ли нужно запутавшимся в вере? Бьердэ перебирал мохнатыми белыми руками плотные шершавые страницы, одну за другой. Но не знал, куда деться от стылых взглядов звезд.

...Общий Отец наш — великий Сила — не рождался и не имел лика, и плотью Его был лишь дым, и плоть эта все же была брэнной. Она тяготила Его и терзала, влекла Его за ветром, шептала в недолгом сне: «Где же Твой дом? Чей Ты сын, чей отец, чей брат?» И, не зная всего этого, искал Сила свою судьбу — зеркалá, где можно отражаться, и сердца, которые можно зажигать. Но ничего не находил: мир был еще пуст. И решил тогда Сила создать судьбу, зеркала и сердца сам, и стал скитаться, и сотворил огонь и океаны, созвездия и молнии, радуги и грозы, зверей и птиц. Он устал — а голосок в голове все не смолкал, тихо плакал. И понял Сила причину слез, и стало самому Ему грустно в доме, полном красоты, но лишенном глаз, чтобы на нее смотреть, и уст, что сказали бы Ему: «Ты хорошо потрудился, отдохни, ты дома».

Тогда, чуть-чуть по своему подобию, чуть-чуть по подобию зверей, сделал Сила людей. Взял Он для этого морской соли, звездной пыли и рыбьей крови, хребтами же стал гибкий тростник. Из тех, в ком много было соли, получились белокожие кхари — нежные, отважные, но непостоянные. Из тех, в ком преобладала рыба кровь, родились черные остроухие нуц — непокорные, страстные, но себя же ранящие клинками страстей. А из тех, кого Сила осыпал излишком звездной пыли, вышли сияющие шерстью, чуткие к знамениям, но невзрачные, словно космический камень, пироланги. Те, кто много знает и мало говорит, много может, но ничего не хочет.

И оставил Сила новорожденных созданий у моря, дабы выбрали себе приют. Испугались люди голодных штормов, не стали строить лодок и расселились по долинам Первого континента и его Детеньша; дальние же, заморские земли остались пустыми. Всем хватало места на Общем Берегу, даже этот кусочек мира казался исполинским и страшным, потому народы уживались, не тесня друг друга. Тогда они искали единения — словно стая волков со шкурами трех оттенков. А Сила холил их и лелеял как мог.

Бьердэ перелистнул страницу и взглянул на карту, бережно и детально нарисованную на обороте. Древний новорожденный мир всего с тремя

континентами. Первый — родной — напоминал задремавшую морскую змею; Детеныш — может, и не континент вовсе, а крупный остров — походил на змееньша, из любопытства забравшегося матери на голову и восхищенно разинувшего рот при виде голубых просторов. Просторов... и того, что зоркие глаза Детеныша, возможно, могли различить за гребнями волн. Ведь здесь же, на карте, древний художник отметил третий, никому не известный континент. *Заморские земли*. Контуры их были зыбкими, прерывистыми, но почему-то именно для них не пожалели серебряной краски.

Мелькнула привычная с детства, любопытная, никем из наставников не поощрявшая мысль: что, если и там кто-то есть? Там, на огромном расстоянии от дома, тоже может кто-то жить, и жить... иначе? Лучше. Дольше. А ну как у этих людей — или нелюдей — можно было бы попросить совета? Бьердэ слабо усмехнулся, покачал головой, сам ругая себя за наивность. Никто, никто из тех графов и баронов, которых он знал, не стал бы просить совета у чужака, даже просвещенные собратья не стали бы, ведь, прося совета, ты вверяешь себя в чужие руки. В землях Цивилизации Общего Берега слишком многие считали себя особенными. Избранными. Умнейшими. И, может, именно оттого, что число таких людей только росло, Общий Берег становился все менее уютным, добрым и понятным местом. Хотя справедливо ли винить в самонадеянности и гордыне существ, которых слишком любил Создатель? Ведь Он их правда любил.

Бьердэ отвел глаза от загадочных серебряных контуров и продолжил путь по знакомым строкам. Поля новой страницы запестрели карминовыми, лазурными, изумрудными, золотыми рисунками листьев и цветов. Началась эра людей.

...Прошло немного времени. Родились на свет две женщины из рода кхари — Парьяла и Джервэ, Светлоликая и Темноокая, и обе они понравились Силе. Сказал голосок в голове: «Вот ради чего Ты творил мир, вот ради чего нужно жить».

И принял Сила облик прекрасного юноши с локонами, струящимися как дым, и пришел к Парьяле, когда та собирала мидий, и сказал ей: «Будь моей». Он был с ней так ласков, Он был с ней так робок, что Парьяла Светлоликая вскоре полюбила его. И родились у них первые дети-боги: светлая Лүва, красой превзошедшая мать, и справедливый Дараккар с зоркими серыми глазами. За ними — оленерогая принцесса природы Вирра-Варра, и маленькая златоглазая богиня знаний Дио-Дио, и щедрый толстяк Милунг, которого ничем

было не разозлить. Последним появился на свет покрытый шерстью Пал, веселый хранитель дружбы, сплетающий ее в нити. Дети ни капли не походили друг на друга — так крепка и всеохватна была любовь Силы.

Так и жили. Однажды, деля ложе с прекрасной супругой, Сила так нежно поцеловал ее в ладонь, что расцвел на коже гербовый цветок, Королевская Незабудка. И когда понял Он, что свершилось колдовство, то не испугался, не забрал метку — нарек Парьялу госпожой своего дома, госпожой мира; голубые бутоны вспыхивали теперь на ладони, стоило ей назваться. Подарок так понравился ей, что она упросила мужа раздать отметины всем достойным людям, и наделить их властью над более слабыми, и велеть править справедливо. Так роздал Он вскоре Лилейник, и Розы, и Крапиву, и Персик, и Чертополох, и много цветов и трав. Королева, графы и бароны отныне узнавали друг друга по этим знакам. Они были горды гербами, а Парьяла — своим Людским Садам.

Потом Сад начал гнить и заболевать: растения разрослись, и им стало тесно, и забыли они, что сильные должны беречь слабых от ветров и палящих лучей. Но то было многим позже.

«Многим позже...» Бьердэ не раз видел эти слова, не раз зачитывал их, например, когда ему вдруг выпадало заниматься с детьми замковых слуг, учить их общей истории. Но именно сегодня его, несмотря на густую шерсть, пробрал озноб, он дернул плечами и ощутил, как они напряжены. Древние авторы, составлявшие Книгу Моря из разрозненных сказаний, не могли быть пророками, нет на Общем Берегу пророков... или все же есть? Или что-то дурное чувствовали уже те, благодаря кому сказания появились?

«Сад начал гнить...» Истина, лечить его все сложнее. У верховного короля никак не получается зачать сына — рождаются одни девочки, да еще слабые, ни одна не сможет потом удержать в руках такую огромную территорию. В тропических землях Кипящей Долины новый граф открыто пренебрегает честью: по слухам, брат его вряд ли *просто* умер от долгого мора, а сыновья вряд ли *просто* пропали без вести. И даже здесь, в мирном вроде бы Соляном графстве, мелкие власти все чаще сталкиваются лбами: взять то, как грызутся два столичных барона, выясняя, кто же здесь больший закон — городская стража или суд. И так во многих знатных семьях. Они будто готовы броситься друг на друга по любому поводу, выкорчевать друг друга и сжечь. Но лишь тайно, ведь стоит верховному королю объявить бал, и созвать всех, и, ласково улыбаясь, начать жать холеные руки — белые, черные, мохнатые, — ему миролюбиво улыбаются в ответ.



Бьердэ обвел широкими когтистыми пальцами хрупкую веточку незабудки на поле. Он ничего не мог с собой поделаться: ему и самому не слишком нравился нынешний верховный король. Нет, не так... с этим королем Бьердэ не чувствовал себя надежно. Не оставляло понимание: если что-то случится в знатных кругах, если чем-то вдруг станет недоволен народ, в общем, если поднимется шторм — король его не усмирят. И остается только благодарить богов за то, что пока шторма нет. Но поводов для него все больше, даже звезды говорят об этом.

Звезды... Бьердэ бегло перевел взгляд на верхнее поле страницы — там серебрилась целая россыпь немых небесных светил. Немых ли? Нет ли и в их рисунке какого-то предостережения? «Смените короля, пока не поздно»? «Поддержите короля, и он окрепнет»? «Поищите врагов в собственных рядах, срежьте гниющие ветви»? «Обратитесь за помощью, смирив гордыню»? Поняв, что теряется в звездах, Бьердэ продолжил читать о прошлом. О том времени, когда послания их были милостью, а не угрозой.

...А тогда Сила, хоть и жил счастливо, никак не мог забыть Джервэ. Все тот же голосок в голове дразнил Его: «Вот ради чего Ты творил мир, вот ради чего нужно жить». Он понимал — это измена, но понимал также: без второй красавицы уже не будет Ему покоя. «О чем мечтаешь?» — ласково спрашивала Парьяла, а Сила отводил глаза, чтобы не сказать случайно: «Больше не о тебе».

И вот вскоре Он встретил Джервэ в лесу, где та загоняла с ручными барсами оленя. Она была слишком прекрасна, чтобы усмирить соблазн. И, сдавшись судьбе, Сила принял облик статного мужчины с глазами, серыми как дым, и, когда Джервэ отдыхала в роще, явился к ней. Он сказал ей то же: «Будь моей». Но Джервэ Темноокая лишь рассмеялась: «Попробуй добиться меня». А когда Он к ней потянулся, смутьянка извернулась, ударила его ножом и побежала прочь.

Сила погнался за ней и настиг в глубине чащи. Она посмотрела ему в глаза и рассмеялась снова: «Ты силен. Иди ко мне». И взял он ее там, истекая кровью от раны ее ножа. И родилась в ту ночь богиня Кáмэш, Красная Дева-Птица, — воплощение скорби и боли. За ней — красивые близнецы-воины Дзэд и Равви и черная Вáрац — уродливая из-за панциря на спине, но плодовитая и способная вырастить урожаи даже в те засухи, когда сдавался добрый Милунг.

Восхищаясь нравом второй супруги, Сила взял горсть звезд и ими написал на небе ее прозвание — Охотница. Гордой Джервэ понравилось это, и она упростила давать прозвания всем достойным правителям и записывать их на небе,

чтобы стало там больше созвездий. Сила уступил. Отныне каждый раз, когда в правящем роду появлялся наследник, пироланги считывали по небу его будущее прозвание. Сокол. Воитель. Стратег. Все правители были тогда достойными, никого звезды не обходили стороной.

Однажды небо не выдержало тяжести и упало. Но то было многим позже.

А тогда Парьяла и Джервэ жили без ведома друг о друге. Узнав же, разозлились на супруга больше, чем друг на друга, и быстро примирились, и заключили союз. И пришли они к Силе, и велели выбирать. Но Он молвил: «Вы для меня равны и любимы, и дети — тоже. Но мы можем жить втроем». Жен не устроил ответ, они в гневе воскликнули: «Тогда мы будем жить без Тебя!» И снова ударила Его Джервэ ножом, и сделала это семь раз; Парьяла же оплакала тело. И родились от крови и слез еще боги: рыжие лукавые Моуд и Вистас, повелевающие судьбой, за ними — Кошмаротворец Вудэн, черноликий и с щупальцами вместо ног. А Силу обманутые супруги сожгли и развеяли пепел. И снова Он странствует по миру, ища дом и судьбу, зеркала и сердца. Но никого Ему больше не найти, и никому не найти Его в дичающем Саду. И только последнее божество, божество любви с двумя лицами, божество, не родившееся ни от одной матери, напоминает двумя своими улыбками: Создатель все еще рядом со своими созданиями. И, может, не даст им пропасть.

Бьердэ повторил про себя: *«Вы для меня равны и любимы, и дети — тоже»*. Эта фраза не только ему не давала покоя. Сила не смог выбрать, какую семью любит больше, предпочел умереть отвергнутым обеими женами. Люди же выбрали и, казалось, ни мгновения не сомневались. Как их не понять?

В природе людей издревле укоренился страх Тьмы и всего с ней связанного: боли и кошмаров, скорби, войны и гнева. Переживая что-то по-настоящему темное, люди не всегда осознавали как собственную в том вину, так и грядущие светлые перемены. Они испытывали от своих дурных порывов и непосильных бед справедливую брезгливость, злость, печаль, страх — и считали их сродни принесенной кем-то заразе.

Взять хотя бы Вудэна, ведающего и смертью — последним сном, — и снами живыми, сладострастными, вещими и кошмарными. Он, разнося на щупальцах нечистых духов шан' и задувая фиолетовые свечи жизни, сталкивал людей лоб в лоб то с грязной глубиной разума, то с брэнностью и недолговечностью. Вудэна боялись, считали могущественнейшим из детей Джервэ и рисовали настолько уродливым, насколько возможно:

оскаленная пасть с треугольными зубами, бесконечные щупальца того цвета, какого бывают скорлупки молодых мидий. Но его это не отпугивало. Он приходил раз за разом, забирал кого хотел, мучил кого хотел. Так же поступали и прочие боги.

Возможно, поэтому когда-то люди решили, что поклоняться Королю Кошмаров, и Кровожадной Черепахе, и Птице Боли, и Близнецам Войны лучше подальше от мест, куда проникает свет и где бьются сердца. Для этих культов люди выбрали чащи, угрюмые пещеры, заросшие пустыри и могильники, надеясь так не накликать на себя лишних бед. Зато, заискивая перед Светлыми богами, вымаливая любовь и удачу, люди возвели и продолжают возводить им помпезные храмы везде, где селятся. В самой захолустной рыбацкой деревеньке обязательно есть хотя бы храм Милунга, дарящего сытость, или Пала, сводящего с союзниками. Места для темных культов обычно на отшибе, ими пугают детей и девиц. А ведь боги ревнивы и обидчивы, в этом они неотличимы от любых младших братьев. Поэтому они всё чаще ведут себя скверно. Светлые тоже не спешат давать милость. Вспомнить хотя бы маленького графа, которого опять сегодня рвало кровью, а он и слезинки не проронил, только сжимал до судороги кулаки...

Снадобье закипело, и Бьердэ поспешил к очагу снять котелок. Дальше понадобилось его процедить, слить в глиняную чарку и отнести на подоконник остывать. Лекарство пахло бадьяном и полынью, на вкус тоже горчило — как и судьба этого ребенка. Да поможет ему... Бьердэ поднял голову к небу. Звезды смотрели без сочувствия.

Люди часто жестоки к своим богам. Так поможет ли мальчику бог Справедливости, к которому зывают по графскому приказу? Тот, кто, воплотившись однажды ради дружбы со смертными и напугав их могуществом, был ими искалечен, ослеплен и с тех пор стал также покровителем больных? Кто знает. У Дараккара два лика: белокурый юноша с нежной улыбкой и мрачный лысый полутруп, на чьем лбу горит третий глаз — сквозная дыра, пробитая светлоликой сестрой, чтобы заменить настоящие, выколотые. У бога, лишившегося красоты и всепрощения из-за жестокой трусости людей, сложный нрав. Даже защищая невинных силой по-прежнему доброго сердца, он губит тех, кто оступается в угоду страстям, страхам и страданиям.

А ведь именно в угоду страстям, страхам и страданиям люди творят столько ошибок, даже просветленные. Особенно теперь, когда объединяет их все меньше, а разделяет — больше. Им все сложнее жить в стае:

у некоторых слишком опасные зубы, у других — шкура на зависть, у третьих — странные повадки. Так пироланги не раз говорили верховному королю, но он лишь улыбался, поднимал руку, веля молчать, — и на ладони вспыхивала Незабудка. Цветок был еще красив, но цвел слишком долго...

«Быть беде». Старейшины, послушав короля и прочтя знаки, заговорили о вещи, для Бьердэ пока еще дикой: об уходе с Общего Берега. Они хотели, например, отправиться в горы, ближе к небу, туда, откуда его почти можно целовать и где реже слепят глаза гербовые цветы. Опасливые шептали: «Это бунт». Храбрые возражали: «Это спасение для всей Цивилизации, мы знаем слишком много». Бьердэ возразил бы иначе: «Разве это... не предательство? Кто будет подсказывать прочим, кто будет их лечить, кто будет изобретать оружие и игрушки? И разве мы не семья?»

Впрочем, ему часто пеняли, что с ним что-то не так. Что лед его взезнания и всепринятия слишком тонок, что глаза его слишком жадны до простых вещей, а сердце — до простых чувств. Иные, самые резкие, даже звали его убогим, равняя с теми редкими пиролангами, которых Сила отметил гербовыми цветами. Таких было меньше, чем хчари и нуц, но они существовали и по понятным причинам не хотели оставлять Цивилизацию ради эфемерного спасительного изгнания. Ни графом, ни даже бароном Бьердэ не был, но уходить правда не хотел: привязался к благородному господину Энзуллису и его детям, особенно к младшему мальчику. Разве правильно уйти, пока всё в порядке? И честно уйти тем, кто так же, как братья, предпочитал Свет, так же закрывал глаза на мудрость, которую может нести Тьма — мягкая, бархатистая, холодная? Разве не во тьме загораются звезды? Да и... существует ли хоть один по-настоящему светлый или темный бог, существует ли среди любви и верности, войны и смерти, боли и мудрости что-то безоговорочно темное и светлое? Все зыбко. Все может спасти и навредить. Особенно когда бежишь в стае.

Но Бьердэ был молод и не был старейшиной, ничего не решал. Он мог только готовить лекарство маленькому господину и задумчиво оглядывать стройные, искрящиеся серебром шпили храмов. Их много было в Ганна́се — одном из красивейших городов Цивилизации. Храмы, все как один, тонули в ласковых персиковых садах и розариях, резном известняке построек поскромнее, сиреневых тенях переулков, похожих на нарядные ленты. Любимый ребенок Моря, любимый ребенок Берега. Как же Ганнас не походил на холодные холмы и ледяные горы; как любовно его когда-то возвели и продолжали скрупулезно достраивать хрупкие, словно мелкие

ракушки, брата. Каким родным он стал... И, любясь им сейчас, Бьрдэ старался меньше думать о непознаваемом и неслучившемся и больше надеяться на лучшее. Жаль, это было все сложнее и сложнее.

«Быть беде», — повторяли старейшины.

«Быть переменам», — возражал он, в глубине души понимая, что лишь утешает себя.

А стая бежала за вожаком сквозь Людской Сад, блестела белой, черной и серой шерстью, скалила зубы — у кого острые как ножи, у кого тупые, как пещерные сталактиты, у кого гнилые, как подтопленные болотом корни деревьев. Стая выла и рычала, прижимала уши, подгоняла детенышей, учила их охоте, удерживала за нежные загривки, не давая споткнуться и вылететь с тропы.

Стая ждала, пока опустится ночь и вожак упадет.